

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

СПУСК ПОД
ВОДУ

Часть сборника: Процесс исключения (сборник)

Лидия Чуковская

Спуск под воду

«ФТМ»

1972

Чуковская Л. К.

Спуск под воду / Л. К. Чуковская — «ФТМ», 1972

«... Не странно ли, что это погружение на дно вместе с Ленинградом, Катенькой, ночной Невой, что этот тайный, внятный только мне звук, возникающий от скрещения тишины и памяти, – что потом он с помощью чернил, бумаги, типографии обретет плоть и получит такое обыденное, общепринятое, всем доступное наименование: книга?– Вы еще не читали «Спуска под воду?»– Нет. А про что там, про работу водолазов?– И не читайте, скучища.– Неправда, непременно прочитайте! в этой книге что-то есть. Хотите принесу? Там никаких водолазов. Книга... Она будет стоять на полке вместе с другими, ее будут брать в руки, перелистывать, ставить на место. Вытирать пыль – пыль с этой вот сегодняшней здешней тишины, сквозь которую ко мне возвращается Алешин голос и плач Кати-маленькой... »

© Чуковская Л. К., 1972

© ФТМ, 1972

Содержание

Лидия Корнеевна Чуковская	5
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Лидия Корнеевна Чуковская

Спуск под воду

Нравственность человека видна в его отношении к слову.
Лев Толстой

...II 49 г.

– Ну, вот вам и Литвиновка ваша, – сказал шофер, еще раз круто повернув лес и лиловый снег перед моими глазами. Когда я увидела финские домики, летящие навстречу, мне сделалось не по себе. После трех часов холода в поезде и часа в машине не такого конца путешествия мне хотелось. Там, верно, рукомойники в сенях, пахнет кухней, мокрые дрова возле печек – убогий, не любимый мною, дачный зимний уклад. Дует от дверей и от окон...

– Приехали!.. – Мой случайный спутник по санаторной машине, Николай Александрович Билибин, распахнул тяжелую шубу и нашарил у ног шофера портфель. Но машина шла дальше, стайка финских домиков, расступившись, убежала назад; еще поворот – и машина остановилась у подъезда большого каменного двухэтажного дома.

Девушки в белых халатах поверх ватников выскочили на мороз нам навстречу.

Мы переступили порог. Девушки уже несли чемоданы.

– Сюда, пожалуйста... Раздевайтесь, пожалуйста... – говорила нам полная дама с крашеными волосами и мушкой на розовом лице. – Аня, помоги же снять пальто. Видишь, товарищи замерзли... Чемоданы в 14-ю и 8-ю... Очень замерзли? Ничего, сейчас мы вас отопреем. Теперь вы дома... Сейчас мы вас зарегистрируем.

После регистрации документов полная дама – видимо, сестра-хозяйка, – плавно ступая впереди, повела нас обоих вверх по широкой, в два марша, лестнице. Ковры в гостиной, сверкающий рояль, сверкающий паркет – нет, это не дача, скорее благоустроенная гостиница. Тепло, тихо, гудит и позвякивает чуть слышно паровое отопление. Красная дорожка вытянулась во всю длину коридора. Тут, наверху, важная тишина, не нарушаемая звуками шагов.

Сестра-хозяйка открыла перед Билибиным одну дверь, передо мной – подальше – другую.

И вот я у себя дома. Из гостиной донесся мелодичный, глубокий звон часов, и сразу стало слышно мерное, трудолюбивое тиканье электростанции. Наконец я буду жить одна в комнате, впервые после войны. Как будто у себя дома, в Ленинграде. Сидеть за письменным столом, который не надо три раза в день превращать в обеденный. Работать в тишине. И мысль или догадка не будет переехана, изувечена чьими-то словами на кухне... Я приложила ладонь к синей трубе парового отопления: горячо.

В этих чужих стенах можно наконец опомниться, встретиться с самой собой.

Но по-видимому, встреча предстоит мне нелегкая, потому что я сразу же начинаю ее избегать. Сколько лет может быть этой даме? – лениво раздумываю я. Глаза с поволокой, золотая модная прическа, на пальцах кольца с зелеными квадратными камнями... Я думаю, она презирает коммунальные квартиры и служба в таком нарядном доме ей очень по душе. «Писатели – такой интересный народ! Конечно, есть и среди них грубияны, но в общем – свободная профессия, что ни говорите, облагораживает...» Сколько нашей хозяйке лет? Двадцать восемь? Тридцать восемь? Только по Москве она, вероятно, скучает и со случайной машиной все норовит съездить туда, сделать маникюр, побывать в театре. Наверное, здешний чистый воздух и лес в снегу надоели ей до смерти.

Я осторожно глянула в окно. Сумерки. Лес спускается в овраг – там плотный, улежавшийся снег, – за оврагом пригорок, и на него выбежали елочки, еще молоденькие, с желтизной,

как цыплята, а впереди всех, наверху, самая хорошенькая, стройная и молодая. Добежала первая до самого верха и стоит. А там, за елочкой, – деревня. «Кузьминское» – говорил шофер. Домишки словно нарисованы неуверенной детской рукой: две кривые линии крест-накрест – крыша, косой квадрат побольше – стены, косые квадратики поменьше – двери и окна.

Я зажгла свет. За окном все исчезло – и снег, и домики.

Я задернула шторы и обернулась. Теперь я с комнатой лицом к лицу. Вот где я буду жить 26 суток. Я оглядывалась медленно, с опаской, исподлобья. Синие стены, синие трубы, низкая широкая кровать, тумбочка, коврик, письменный стол... Я поскорее поставила на стол мою чернильницу и Катенькину карточку – водрузила свои знамена... Здесь, значит, и состоится встреча. В присутствии этого стола, этих темных штор и белых занавесок на окнах – наивных, как елочки за окном.

– Пора ужинать, – произнес молодой голос в коридоре. И более повелительно: – Ужинать пожалуйста!

Но я осталась у себя.

...II 49 г.

Я легла вчера рано и спала беспробудно, глубоко, до тех пор, пока свет не начал просачиваться сквозь шторы. Вскочила, боясь опоздать к завтраку. И правда, уже восемь. Но когда я, умывшись, спустилась в столовую, там было еще пусто. Длинная комната с небольшими ясными окошками и круглыми столами. Скатерти накрахмаленной тугой белизною перекликались с коркой снега в овраге за окном. Столики сверкали посудой и пирамидками салфеток, но в столовой – никого. Кажется, я первая. Нет, за дальним столиком в углу сидит молодая тоненькая темноглазая дама в брюках и изящно ложечкой разбивает яйцо.

подавальщица, румяная на зависть, приветливо указала мне мое место, внимательно расспросила, что я буду есть, и быстро подала. Я вглядывалась в сверкающее чистотой окно: это все мое! Моя елка стояла на холме, такая трогательная в своей серьезности, – не может того быть, чтобы она сама не знала, какая она прелесть! Крыши домов, нарисованных детской рукой на пригорке, сегодня побелели и прижались к земле.

За моим столом было накрыто еще на два прибора, но я не стала дожидаться своих неведомых сотрапезников, быстро поела и марш на воздух, которым я не дышала сто лет.

Я оделась и пошла куда глаза глядят, прямо перед собой. У дома месиво грязи, дальше – рыхлый больной снег и только совсем вдали, в полях, ровная скатерть наста. Синий, как украинская хата, домик директора, сарай, собака на цепи. Заброшенность, промозглость, никчемность. Дальше! Серые тучи, серая даль, и сквозь черные сучья – желтое небо. Как это было бы пророчески страшно в Ленинграде – желтое небо и черные сучья, – а здесь это не знамение судьбы, а просто желтая заря. Я дальше, не глядя под ноги, мимо каких-то кур и чьего-то мерзнувшего на веревке белья... Ах, вот оно что там! Березовая роща!

Будто и не было грязи возле дома. Тут снег лежит богатый, плотный, как в овраге под моим окном. И из глубокого снега тянутся к облакам березы...

Я перебралась через сугроб и пошла по тропинке. Кругом все было серое, зыбкое, насыщенное влагой. Березы росли семьями – по три, по две из одного корня, устремляясь вверх и чем выше, тем дальше отклоняясь друг от друга, как в неподвижном, но стремительном вальсе. Я закинула голову, остановившись, и сразу голова пошла кругом от этих ровно колеблющихся вершин и медленно движущихся серых набухших туч. Тучи обложили небо плотно, будто там, на небесной земле, они были сугробами. Я шла по тропинке, пьянея от мелькания, от кружения серо-белых стройных стволов, и меня мучила грусть, как во все минуты слишком осязаемого счастья... Ведь это отнимут. Я это отдам. Никто и отнимать не станет, а просто пройдет что-то непостижимое, что мы называем «время», на листке календаря окажется какая-то четверка или девятка, и по ее приказу будет подана к крыльцу машина, я начну укладывать чемодан, а

роща станет больше не моя, вход в нее мне будет запрещен... Так же в уютном доме будет в тишине слышно тиканье электростанции с пригорка, так же будут наливать то убывающим, то крепнущим светом люстры и лампы, так же будут тянуться от снега к тучам березы, отдавая вершины ветру, – и это уже будет не мое. Кончено! Нельзя! Четыре на календаре. Пора.

Только что встретившись с рощей, я уже начала тосковать от неизбежной разлуки с нею.

Тропинка вилась и петляла. Березы послушно расступались, но это только для вида, чтобы заманить, а на самом деле тесней и тесней обступали меня, и тропинка вынуждена была пускаться на хитрости, чтобы, петляя, обходить их круглые семьи. Вверху шумел ветер. На ветках перекачивались и сверкали сияющие шарики почек. Почки? Зимой?.. Я вгляделась. Это были капли воды.

– Гуляете?

Мне навстречу шла крупная дама в брюках из-под шубы и с большой, окованной металлом сумкой под мышкой. От холода ее напудренное лицо полиловело, кожа под выщипанными бровями набухла. За ней лениво шел смуглый томный мужчина в лыжном костюме. В его красиво подстриженной бороде было что-то восточное.

– Ну, как Москва? – спросил он у меня, чуть поклонившись. – Стоит, слава богу?.. Вы, кажется, только сегодня приехали? А здесь такая дохлая скука...

– Это нелюбезно, Ладо! – сказала дама, щелкнув сумкой, как выстрелив, и я догадалась, что передо мной знаменитый кинорежиссер, недавно получивший Сталинскую премию за картину о родине Сталина, Гори, – Ладо Канчели.

Мы стояли на узкой тропинке, тесно сгрудившись, чтобы не оступиться в снег. Мне было стыдно за свой облезлый рукав. Меня спросили, как мне нравится здесь и кто это приехал вместе со мной – такой широкоплечий, в тяжелой шубе? и в какой меня поместили комнате? И наконец прошли.

Благополучные, нарядные люди! Я сразу подумала о своей старой шубе, о незавитых волосах и незакрашенной седине. Оказывается, здесь буду не только я со своей памятью и работой, наедине с лесом, небом и книгами, а я и чужие люди, да еще такие, которым скучновато и хочется поразвлечься. Я как-то не думала раньше об этом, когда ехала сюда – в одиночество. Не предусмотрела существования людей.

Я шла и шла вперед, а березы всё кружились. Вот-вот и меня закружат. Плотный, видимый воздух стоял между стволами. Чем-то эта роща напоминала мне Голландию, в которой я никогда не была. Все набухшее влагой, мутное, тяжелое, расплывчатое. На выставке картин Остроумовой-Лебедевой такой увидела я Голландию – тяжелой, размытой, влажной. И в Ленинграде бывают такие дни: не разглядишь с Университетской набережной золотого Исаакья на другой стороне реки.

Я повернула. Мне есть куда идти: сегодня я буду работать без телефонных звонков, без разговоров за стенкой, без обиды за Катю, которой негде приткнуться.

Я уехала – и теперь, вернувшись из школы, она может, не стесняя меня, решать задачи за столом.

Вон вдаль уже веревка и корчащиеся рубахи. А за бельем ели и освещенное крыльцо дома.

Я остановилась прислушаться: жива ли тревога?.. Да, видно, от материнской тревоги не бывает отдыха; я могу и сейчас, под этот добрый круглый шум, пальцем показать, в каком месте сердца она живет. Здорова ли Катюша? Не поскользнулась ли, возвращаясь из школы? Не довела ли ее до слез учительница, которая требует, чтобы всё зубрили наизусть: «Надо выучить так, чтобы от зубов отскакивало». А Елизавета Николаевна... Но о Елизавете Николаевне лучше не думать...

Дом сиял мне навстречу огнями, раздевалка пахла теплом, девушка-гардеробщица отложила книгу и помогла мне раздеться. Вся я была пропитана воздухом насквозь, с головы

до пят. Нет, не только шапка, галоши, шуба, но и щеки, и грудь, и ноги – вся. Дом встретил меня городским надежным теплом труб, блеском паркетов и медицинскими заботами. Меня позвали к врачу. Потом – принять хвойную ванну. Потом принесли мне лекарство. И врач, и медицинская сестра, и беленькая курносая девушка, которую я застала у себя в комнате за уборкой, – все с сердечным участием относились к моим болезням, процедурам, питанию, плечикам в шкафу для моего единственного платья, цвету чернил, которыми я предпочитаю писать... Конечно, на самом деле все это их мало трогало, но хорошо, что ласковое притворство входит в их обязанности.

Это не то, что в миру.

Стоишь в домоуправлении, ожидаешь справки. Стула нет, сесть некуда. А девушка беседует с ухажером: обсуждается вопрос, пойдут ли они сегодня в кино. Паренек сбоку навалился на стол, дышит ей прямо в лицо, поигрывая бровями. Плененная этой игрой, она портит четвертый бланк, – а я все стою.

– Почему у вас нет стула для посетителей?

– Вы здоровый человек, можете и постоять. – И пареньку, передавая ему фотографическую карточку:

Ты поглядишь на это фото
И сразу вспомнишь оргинал.

– Но я не желаю стоять перед вами.

– Хоть лежите, мне все равно!

Нет, здесь не так.

Девушка, вытирающая на столе несуществующую пыль, осведомилась, не прийти ли ей убирать потом? Не мешает ли она мне сейчас? Ей, наверное, лет семнадцать – годика на три она старше Кати. Такая она тоненькая, беленькая, испуганная – с опаской вытирает чернильницу: чужая, писательская чернильница, разобьешь – хлопот не оберешься. Да и велено: когда пишут, не мешать. Курносый круглым личиком она похожа на купидона – того, бронзового, что выглядывает из-за стола лампы на рояле в гостиной. «Я вам не мешаю? Я могу опосля», – лепечет она.

...II 49 г.

До сих пор мне удавалось приходить в столовую раньше всех и я успевала поесть в одиночестве, но сейчас, когда, сделав утреннюю порцию перевода в тишине своей комнаты, я спустилась в столовую, за моим столиком сидели еще двое.

– Видите, как я о вас забочусь, – сказала мне Людмила Павловна совершенно с той интонацией, которую я придумала, идя в день приезда по коридору следом за ней. – Я посадила вас между двух интересных мужчин.

Интонация так точно совпадала с придуманной мною, что я ждала: не произнесет ли она также и изобретенные мною слова насчет облагораживающего воздействия свободной профессии? Но нет. Она расспросила меня, что я ем, чего не ем.

В столовой пышность Людмилы Павловны облечена в белый накрахмаленный халат. На минуточку она присела на свободный стул за нашим столиком, и при ясном свете чисто вымытого окна я увидела, что ей отнюдь не двадцать восемь и не тридцать восемь, а, наверное, все пятьдесят, что она страстно хочет выглядеть стройной, затягивается, но укрыть избыток жира не в силах.

Двое «интересных мужчин» – мой спутник по санаторной машине, Николай Александрович Билибин, и молодой лысеющий журналист, сотрудник «Литературной газеты», Сергей Дмитриевич Саблин.

Какие они? Сразу не поймешь, но веселые, приветливые. Во всяком случае, они безусловно достойны более молодой и элегантной дамы, чем я. Но и со мной они были вполне любезны, особенно Билибин.

Он сказал:

– Мы ведь с вами, хотите не хотите, Нина Сергеевна, близнецы: приехали в один день, доставлены с вокзала в одной машине, да и комнаты наши на одном этаже.

Что-то в его наступательной, развязной любезности мне не совсем приятно. Я еще в машине жалась от нее в угол, прислушиваясь к низкому, красивому, актерскому голосу. Он тогда все заговаривал с шофером, но я слышала, что он говорит для меня. И потому не отзывалась.

– На Украинском фронте, – рассказывал он теперь журналисту, – мы весною совершенно увязали в грязи. Развезло глину, нету хода машинам, что будешь делать? Завидовали колхозникам, те на волах отлично передвигались. Шоферы, как увидят волов, говорят: это, говорят, Му-Му-2... Машина марки Му-Му-2...

Журналист рассмеялся. Я – нет. Но Билибину непременно надо было добраться до меня.

– Над чем работаете сейчас? – спросил он, передавая мне капусту... – Кушайте, в ней много витаминов...

– Да так... – ответила я неопределенно, – перевожу.

У Билибина потертый пиджак, на ногах – валенки, но выглядит он, пожалуй, элегантнее молодого журналиста в светлом костюме и заграничном галстуке. Что-то в его медленных ленивых движениях, в крупных плечах чувствуется барское, холеное. У него широкие руки рабочего человека, а ногти отточенные, длинные.

Мужчины вежливо поджидали, пока я покончу с кремом. За соседним столиком слышалось шелканье сумки, хлопанье пробок и смех. Это кинорежиссер, несмотря на ранний час, угощал свою даму вином. Белый большой воротник на ее платье и пышные золотые кудри были гораздо свежее лица.

– Мало народу сегодня в столовой, – сказала дама, обводя комнату глазами. – Верно, спустились еще не все, кто живет.

– С кем живет? – нехотя спросил кинорежиссер.

Билибин рассказывал мне и журналисту о своем новом романе. (Я не читала и старых.) Роман посвящен сибирским угольным шахтам, технически прогрессивным способам разработки породы, внедрению механизации. С производственным конфликтом тесно переплетается семейный разлад. Роман уже почти принят в «Знамени» – просили только слегка расширить парторга...

– Вот сию по шесть часов в день и расширяю парторга, – сказал Билибин, повернув ко мне большое лицо с высоким лбом и тонким носом и взглянув мне прямо в глаза спокойными желтыми глазами. – Затем и приехал.

Усмешки у него в глазах не было, но, хотя они и были открыты и глядели прямо на меня, мне показалось, что они прикрыты чем-то.

Я встала из-за стола. Мои собеседники проводили меня до дверей.

– А вы уже заметно посвежели, право, – сказал Билибин тоненькой темноглазой даме, которая шла нам навстречу. Она улыбнулась, показывая мелкие ровные зубы. – Не бойтесь, не бойтесь, не сглажу! У меня глаз добрый.

Я поднялась к себе.

...II 49 г.

Ночью я проснулась от стука сердца. Слезы текли по волосам и щекали ухо.

Что-то случилось ужасное, но что – я не могла вспомнить. Вспоминался не самый сон, а лишь испытанный ужас.

Я лежу на широкой мягкой постели. Кровь толкается в уши, сердце все не может прийти в себя после обрыва.

Ночная тишина, плотная, черная, стоит кругом. Ее хочется тронуть рукой, попробовать на ощупь, как материю.

Света не зажжешь – электростанция по ночам не работает. Да и с этим ужасом в груди легче существовать так, без света.

Что это было? Сердце стучит в горле, в ушах, в висках, наполняет горячим стуком грудь и, кажется, комнату. Наверное, я снова видела Алешину смерть.

Но которую? Какую? В дороге? В лагере? На допросе?

Я ничего не знаю о его конце, и потому всякий пригоден для моего воображения.

Но с того разговора на каменной лестнице возле воды, того, осеннего, ко мне повадился сон про Алешину смерть на допросе. Сколько уж раз я видела во сне его смерть? Можно было бы точно сосчитать по дневнику, да с дневником я ведь всегда в разлуке... Можно и так сосчитать: началось это в сороковом году осенью, под мелким дождиком, когда одна моя подруга назначила мне внезапно свидание на набережной и мы спустились по ступенькам к черной воде, дышащей стужей, – тут, внизу, на этих плоских гранитных плитках у воды, тут надежно, никого, ничего, – и она рассказала мне про допрос со слов своей двоюродной сестры, а той под клятвой рассказал один человек, выпущенный в тридцать девятом. До тех пор мы, конечно, тоже догадывались, но не смели своим догадкам верить, а теперь догадка оказалась правдой, и мы узнали наверняка, почему все признаются и оговаривают друг друга. (Я еще спросила у нее в тот раз про палец: – Как ты думаешь, сколько минут ты можешь выдержать, если тебе дверью прищемят палец?.. – И она спросила в ответ: – А ты?) И вот с тех пор, вот уже, значит, скоро десять лет, и поселился в моих ночах этот сон: допрос и Алешина смерть на допросе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.